ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК

ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК

Шагреневая кожа

МОСКВА
2018

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)-44
Б21

Honoré de Balzac

LA PEAU DE CHAGRIN

Перевод с французского *Б. Грифцова*

Оформление серии «Pocket book» *Андрея Саукова*
В оформлении обложки использована
репродукция картины «Флирт»
художника Фредерика Хендрика Кеммерера (1839–1902)

Оформление серии «100 главных книг»
Натальи Ярусовой

Бальзак, Оноре де.

Б21 Шагреневая кожа / Оноре де Бальзак ; [пер. с фр. Б. Грифцова]. — Москва : Эксмо, 2019. — 320 с.

ISBN 978-5-04-094674-7 (Pocket book)
ISBN 978-5-04-094677-8 (100 главных книг)

В историю литературы Оноре де Бальзак вошел как создатель единственной в своем роде художественной энциклопедии жизни Франции XIX века. «Человеческая комедия» охватила все стороны «сцены» театра жизни. Наиболее значительным и ярким произведением в эпопее является «Шагреневая кожа», которую автор называл отправным началом своего творческого пути.

Главный герой этого романа становится обладателем лоскута шагреневой кожи — могущественного талисмана, способного исполнять любые желания. Только какова цена, которую ему предстоит заплатить за осуществление этих желаний?

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-04-094674-7
(Pocket book)
ISBN 978-5-04-094677-8
(100 главных книг)

© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2019

Господину Савари, члену Академии наук

Стерн, Тристрам Шенди, гл. CCCXXII

I. Талисман

В начале прошлого октября один молодой человек вошел в Пале-Рояль как раз к тому времени, когда открываются игорные дома — согласно закону, охраняющему права страсти, подлежащей обложению по самой своей сущности. Не колеблясь, он поднялся по лестнице притона, на котором значился номер «36».

— Не угодно ли вам отдать шляпу? — сурово крикнул ему мертвенно-бледный старикашка, который примостился где-то в тени за барьером, а тут вдруг поднялся и выставил напоказ мерзкую свою физиономию.

Когда вы входите в игорный дом, то закон прежде всего отнимает у вас шляпу. Быть может, это своего рода евангельская притча, предупреждение, ниспосланное небом, или, скорее, особый вид адского договора, требующего от нас некоего залога? Быть может, хотят заставить вас относиться с почтением к тем, кто вас обыграет? Быть может, полиция, проникающая во все общественные клоаки, желает узнать фамилию вашего шляпника или же вашу собственную, если вы написали ее на подкладке шляпы? А может быть, наконец, намереваются снять мерку с вашего черепа, чтобы потом составить поучительные статистические таблицы умственных способностей игроков? На этот счет администрация хранит полное молчание. Но

имейте в виду, что, как только вы делаете первый шаг по направлению к зеленому полю, шляпа вам уже не принадлежит, точно так же, как и сами вы себе не принадлежите: вы во власти игры — и вы сами, и ваше богатство, и ваша шляпа, и трость, и плащ. А при выходе ИГРА возвращает вам то, что вы сдали на хранение, — то есть убийственной, овеществленной эпиграммой докажет вам, что кое-что она вам все-таки оставляет. Впрочем, если у вас новый головной убор, тогда урок, смысл которого в том, что игроку следует завести особый костюм, станет вам в копеечку.

Недоумение, изобразившееся на лице молодого человека при получении номерка в обмен на шляпу, поля которой, по счастью, были слегка потерты, указывало на его неопытность; старикашка, вероятно с юных лет погрязший в кипучих наслаждениях азарта, окинул его тусклым, безучастным взглядом, в котором философ различил бы убожество больницы, скитания банкротов, вереницу утопленников, бессрочную каторгу, ссылку на Гуасакоалько. Испитое и бескровное его лицо, свидетельствовавшее о том, что питается он теперь исключительно желатинными супами Дарсе, являло собой бледный образ страсти, упрощенной до предела. Глубокие морщины говорили о постоянных мучениях: должно быть, весь свой скудный заработок он проигрывал в день получки. Подобно тем клячам, на которых уже не действуют удары бича, он не вздрогнул бы ни при каких обстоятельствах, он оставался бесчувственным к глухим стонам проигравшихся, к их немым проклятиям, к их отупелым взглядам. То было воплощение ИГРЫ. Если бы молодой человек пригляделся к унылому этому церберу, быть может, он подумал бы: «Ничего, кроме колоды карт, нет в его сердце!» Но он не послушался этого олицетворенного совета, поставленного здесь,

разумеется, самим провидением, подобно тому, как оно же сообщает нечто отвратительное прихожей любого притона. Он решительными шагами вошел в зал, где звон золота околдовывал и ослеплял душу, объятую алчностью. Вероятно, молодого человека толкала сюда самая логичная из всех красноречивых фраз Жан-Жака Руссо, печальный смысл которой, думается, таков: «Да, я допускаю, что человек может пойти играть, но лишь тогда, когда между собою и смертью он видит лишь свое последнее экю».

По вечерам поэзия игорных домов пошловата, но ей обеспечен успех, так же как и кровавой драме. Залы полнятся зрителями и игроками, неимущими старичками, что приплелись сюда погреться, лицами, взволнованными оргией, которая началась с вина и вот-вот закончится в Сене. Страсть здесь представлена в изобилии, но все же чрезмерное количество актеров мешает вам смотреть демону игры прямо в лицо. По вечерам это настоящий концерт, причем орет вся труппа, и каждый инструмент оркестра выводит свою фразу. Вы увидите здесь множество почтенных людей, которые пришли сюда за развлечениями и оплачивают их так же, как одни платят за интересный спектакль или за лакомство, а другие, купив по дешевке где-нибудь в мансарде продажные ласки, расплачиваются за них потом целых три месяца жгучими сожаленьями. Не поймете ли вы, до какой степени одержим азартом человек, нетерпеливо ожидающий открытия притона? Между игроком вечерним и утренним такая же разница, как между беспечным супругом и любовником, томящимся под окном своей красавицы. Только утром вы встретите в игорном доме трепетную страсть и нужду во всей ее страшной наготе. Вот когда вы можете полюбоваться на настоящего игрока, на игрока, который не ел, не спал, не жил, не думал, — так жестоко

истерзан он бичом неудач, уносивших постоянно удваиваемые его ставки, так он исстрадался, измученный зудом нетерпения, — когда же наконец выпадет «трант-э-карант»? В этот проклятый час вы заметите глаза, спокойствие которых ужасает, заметите лица, которые вас обвораживают, взгляды, которые как будто приподнимают карты и пожирают их.

Итак, игорные дома прекрасны только при начале игры. В Испании есть бой быков. В Риме были гладиаторы, а Париж гордится своим Пале-Роялем, где раззадоривающая рулетка дает вам насладиться захватывающей картиной, в которой кровь течет потоками и не грозит, однако, замочить ноги зрителей, сидящих в партере. Постарайтесь бросить беглый взгляд на эту арену, войдите!.. Что за убожество! На стенах, оклеенных обоями, засаленными в рост человека, нет ничего, что могло бы освежить душу. Нет даже гвоздя, который облегчил бы самоубийство. Паркет обшарпан, запачкан. Середину зала занимает овальный стол. Он покрыт сукном, истертым золотыми монетами, а вокруг тесно стоят стулья — самые простые стулья с плетеными соломенными сиденьями, и это ясно изобличает любопытное безразличие к роскоши у людей, которые приходят сюда, на свою погибель, ради богатства и роскоши. Подобные противоречия обнаруживаются в человеке всякий раз, когда душа с силой отталкивается сама от себя. Влюбленный хочет нарядить свою возлюбленную в шелка, облечь ее в мягкие ткани Востока, а чаще всего обладает ею на убогой постели. Честолюбец, мечтая о высшей власти, пресмыкается в грязи раболепства. Торговец дышит сырым, нездоровым воздухом в своей лавчонке, чтобы воздвигнуть обширный особняк, откуда его сын, наследник скороспелого богатства, будет изгнан, проиграв тяжбу против родного брата. Да, наконец, суще-

ствует ли что-нибудь менее приятное, чем дом наслаждений? Страшное дело! Вечно борясь с самим собой, теряя надежды перед лицом нагрянувших бед и спасаясь от бед надеждами на будущее, человек во всех своих поступках проявляет свойственные ему непоследовательность и слабость. Здесь, на земле, ничто не осуществляется полностью, кроме несчастья.

Когда молодой человек вошел в зал, там было уже несколько игроков. Три плешивых старика развалясь сидели вокруг зеленого поля; их лица, похожие на гипсовые маски, бесстрастные, как у дипломатов, изобличали души пресыщенные, сердца, давно уже разучившиеся трепетать даже в том случае, если ставится на карту неприкосновенное имение жены. Молодой черноволосый итальянец, с оливковым цветом лица, спокойно облокотился на край стола и, казалось, прислушивался к тем тайным предчувствиям, которые кричат игроку роковые слова: «Да! — Нет!» От этого южного лица веяло золотом и огнем. Семь или восемь зрителей стояли, выстроившись в ряд, как на галерке, и ожидали представления, которое им сулила прихоть судьбы, лица актеров, передвижение денег и лопаточек. Эти праздные люди были молчаливы, неподвижны, внимательны, как толпа, собравшаяся на Гревской площади, когда палач отрубает кому-нибудь голову. Высокий худой господин в потертом фраке держал в одной руке записную книжку, а в другой булавку, намереваясь отмечать, сколько раз выпадет красное и черное. То был один из современных Танталов, живущих в стороне от наслаждений своего века, один из скупцов, играющих на воображаемую ставку, нечто вроде рассудительного сумасшедшего, который в дни бедствий тешит себя несбыточной мечтою, который обращается с пороком и опасностью так же, как молодые священники — с причастием, когда слу-

жат раннюю обедню. Напротив игрока поместились пройдохи, изучившие все шансы игры, похожие на бывалых каторжников, которых не испугаешь галерами, явившиеся сюда, чтобы рискнуть тремя ставками и в случае выигрыша, составлявшего единственную статью их дохода, сейчас же уйти. Два старых лакея равнодушно ходили взад и вперед, скрестив руки, и по временам поглядывали из окон в сад, точно для того, чтобы вместо вывески показать прохожим плоские свои лица. Кассир и банкомет только что бросили на понтеров тусклый, убийственный взгляд и сдавленным голосом произнесли: «Ставьте!» — когда молодой человек отворил дверь. Молчание стало словно еще глубже, головы с любопытством повернулись к новому посетителю. Неслыханное дело! При появлении незнакомца отупевшие старики, окаменелые лакеи, зрители, даже фанатик-итальянец, — решительно все испытали какое-то ужасное чувство. Надо быть очень несчастным, чтобы возбудить жалость, очень слабым, чтобы вызвать симпатию, очень мрачным с виду, чтобы дрогнули сердца в этом зале, где скорбь всегда молчалива, где горе весело и отчаяние благопристойно. Так вот именно все эти свойства и породили то новое ощущение, которое расшевелило оледеневшие души, когда вошел молодой человек. Но разве палачи не роняли порою слез на белокурые девичьи головы, которые они должны были отсечь по сигналу, данному Революцией?

С первого же взгляда игроки прочли на лице новичка какую-то страшную тайну; в его тонких чертах сквозила грустная мысль, выражение юного лица свидетельствовало о тщетных усилиях, о тысяче обманутых надежд! Мрачная бесстрастность самоубийцы легла на его чело матовой и болезненной бледностью, в углах рта легкими складками обрисовалась горькая

улыбка, и все лицо выражало такую покорность, что на него было больно смотреть. Некая скрытая гениальность сверкала в глубине этих глаз, затуманенных, быть может, усталостью от наслаждений. Не разгул ли отметил нечистым своим клеймом это благородное лицо, прежде чистое и сияющее, а теперь уже помятое? Доктора, вероятно, приписали бы этот лихорадочный румянец и темные круги под глазами пороку сердца или грудной болезни, тогда как поэты пожелали бы увидеть в этих знаках приметы самозабвенного служения науке, следы бессонных ночей, проведенных при свете рабочей лампы. Но страсть, более смертоносная, чем болезнь, и болезнь, более безжалостная, чем умственный труд и гениальность, искажали черты этого молодого лица, сокращали эти подвижные мускулы, утомляли сердце, которого едва лишь коснулись оргии, труд и болезнь. Когда на каторге появляется знаменитый преступник, заключенные встречают его почтительно, — так и в этом притоне демоны в образе человеческом, испытанные в страданиях, приветствовали неслыханную скорбь, глубокую рану, которую измерял их взор, и по величию молчаливой иронии незнакомца, по нищенской изысканности его одежды признали в нем одного из своих владык. На молодом человеке был отличный фрак, но галстук слишком вплотную прилегал к жилету, так что едва ли под ним имелось белье. Его руки, изящные, как у женщины, были сомнительной чистоты, — ведь он уже два дня ходил без перчаток. Если банкомет и даже лакеи вздрогнули, так это оттого, что очарование невинности еще цвело в хрупком и стройном его теле, в волосах, белокурых и редких, вьющихся от природы. Судя по чертам лица, ему было лет двадцать пять, а порочность его казалась случайной. Свежесть юности еще сопротивлялась опустошениям неутоленного

сладострастия. Во всем его существе боролись мрак и свет, небытие и жизнь, и, может быть, именно поэтому он производил впечатление чего-то обаятельного и вместе с тем ужасного. Молодой человек появился здесь, словно ангел, лишенный сияния, сбившийся с пути. И все эти заслуженные наставники в порочных и позорных страстях почувствовали к нему сострадание — подобно беззубой старухе, проникшейся жалостью к красавице девушке, которая вступила на путь разврата, — и готовы были крикнуть новичку: «Уйдите отсюда!» А он прошел прямо к столу, остановился, не задумываясь, бросил на сукно золотую монету, и она покатилась на *черное;* потом, как все сильные люди, презирающие скряжническую нерешительность, он взглянул на банкомета вызывающе и вместе с тем спокойно. Ход этот возбудил такой интерес, что старики ставки не сделали; однако итальянец с фанатизмом страсти ухватился за увлекавшую его мысль и поставил все свое золото против ставки незнакомца. Кассир забыл произнести обычные фразы, которые с течением времени превратились у него в хриплый и невнятный крик: «Ставьте!» — «Ставка принята!» — «Больше не принимаю!» Банкомет снял карты, и, казалось, даже он, автомат, безучастный к проигрышу и выигрышу, устроитель этих мрачных увеселений, желал новичку успеха. Зрители все, как один, готовы были видеть развязку драмы в судьбе этой золотой монеты, последнюю сцену благородной жизни; их глаза, прикованные к роковым листкам картона, горели, но, несмотря на все внимание, с которым они следили то за молодым человеком, то за картами, они не могли заметить и признака волнения на его холодном и покорном лице.

— Красная, черная, пасс, — официальным тоном объявил банкомет.

Что-то вроде глухого хрипа вырвалось из груди итальянца, когда он увидел, как один за другим падают на сукно сложенные банковые билеты, которые ему бросал кассир. А молодой человек только тогда постиг свою гибель, когда лопаточка протянулась за его последним наполеондором. Слоновая кость тихо стукнулась о монету, и золотой с быстротою стрелы докатился до кучки золота, лежавшего перед кассой. Незнакомец медленно опустил веки, губы его побелели, но он тут же открыл глаза снова; точно кораллы, заалели его губы, он стал похож на англичанина, для которого в жизни не существует тайн, и исчез, не пожелав вымаливать себе сочувствие тем душераздирающим взглядом, который часто бросают на зрителей игроки, впавшие в отчаяние. Сколько событий произошло на протяжении одной секунды и как много значит один удар игральных костей!

— Это был, конечно, последний его заряд, — сказал, улыбнувшись, крупье после минутного молчания и, держа золотую монету двумя пальцами, показал ее присутствующим.

— Шальная голова! Он, чего доброго, бросится в реку, — отозвался один из завсегдатаев, оглядев игроков, которые все были знакомы между собой.

— Да уж! — воскликнул лакей, беря щепотку табаку.

— Вот нам бы последовать примеру этого господина! — сказал старик своим товарищам, показывая на итальянца.

Все оглянулись на счастливого игрока, который дрожащими руками пересчитывал банковые билеты.

— Какой-то голос, — сказал он, — шептал мне на ухо: «Расчетливая игра одержит верх над отчаянием молодого человека».

— Разве это игрок? — вставил кассир. — Игрок разделил бы свои деньги на три ставки, чтобы увеличить шансы.

Проигравшийся незнакомец, уходя, позабыл о шляпе, но старый сторожевой пес, заметивший жалкое ее состояние, молча подал ему это отрепье; молодой человек машинально возвратил номерок и спустился по лестнице, насвистывая «Ди танти палпити»[1] так тихо, что сам едва мог расслышать эту чудесную мелодию.

Вскоре он очутился под аркадами Пале-Рояля, прошел до улицы Сент-Оноре и, свернув в сад Тюильри, нерешительным шагом пересек его. Он шел точно в пустыне; его толкали встречные, но он их не видел; сквозь уличный шум он слышал один только голос — голос смерти: он оцепенел, погрузившись в раздумье, похожее на то, в какое впадают преступники, когда их везут от Дворца правосудия на Гревскую площадь, к эшафоту, красному от крови, что лилась на него с 1793 года.

Есть что-то великое и ужасное в самоубийстве. Для большинства людей падение не страшно, как для детей, которые падают с такой малой высоты, что не ушибаются, но когда разбился великий человек, то это значит, что он упал с большой высоты, что он поднялся до небес и узрел некий недоступный рай. Беспощадные должны быть те ураганы, что заставляют просить душевного покоя у пистолетного дула. Сколько молодых талантов, загнанных в мансарду, затерянных среди миллиона живых существ, чахнет и гибнет перед лицом скучающей, уставшей от золота толпы, потому что нет у них друга, нет близ них женщины-

[1] «Что за трепет» (*итал.*) — слова арии из оперы Россини «Танкред».

утешительницы! Стоит только над этим призадуматься — и самоубийство предстанет перед нами во всем своем гигантском значении. Один Бог знает, сколько замыслов, сколько недописанных поэтических произведений, сколько отчаяния и сдавленных криков, бесплодных попыток и недоношенных шедевров теснится между самовольною смертью и животворной надеждой, когда-то призвавшей молодого человека в Париж. Всякое самоубийство — это возвышенная поэма меланхолии. Всплывет ли в океане литературы книга, которая по своей волнующей силе могла бы соперничать с такою газетной заметкой:

«Вчера, в четыре часа дня, молодая женщина бросилась в Сену с моста Искусств»?

Перед этим парижским лаконизмом все бледнеет — драмы, романы, даже старинное заглавие: «Плач славного короля Карнаванского, заточенного в темницу своими детьми», — единственный фрагмент затерянной книги, над которым плакал Стерн, сам бросивший жену и детей...

Незнакомца осаждали тысячи подобных мыслей, обрывками проносясь в его голове, подобно тому как разорванные знамена развеваются во время битвы. На краткий миг он сбрасывал с себя бремя дум и воспоминаний, останавливаясь перед цветами, головки которых слабо колыхал среди зелени ветер; затем, ощутив в себе трепет жизни, все еще боровшейся с тягостною мыслью о самоубийстве, он поднимал глаза к небу, но нависшие серые тучи, тоскливые завывания ветра и промозглая осенняя сырость внушали ему желание умереть. Он подошел к Королевскому мосту, думая о последних прихотях своих предшественников. Он улыбнулся, вспомнив, что лорд Каслриф, прежде чем перерезать